

С.А. Красильников*

S.A. Krasilnikov*

**История и память в контексте
политических интересов****History and Memory in the Context
of Political Interests**

doi:10.31518/2618-9100-2022-1-1

doi:10.31518/2618-9100-2022-1-1

УДК 94 (47+57)

Выходные данные для цитирования:

How to cite:

Красильников С.А. История и память в контексте политических интересов // Исторический курьер. 2022. № 1 (21). С. 9–21. URL: <http://istkurier.ru/data/2022/ISTKURIER-2022-1-01.pdf>

Krasilnikov S.A. History and Memory in the Context of Political Interests // Historical Courier, 2022, No. 1 (21), pp. 9–21. [Available online: <http://istkurier.ru/data/2022/ISTKURIER-2022-1-01.pdf>]

Abstract. In the Soviet era, the authorities tried to construct an identity for society based on ideology, while sacrificing the rest of the basic identities (ethnic, confessional, cultural, settlement/community, family). This resulted in formation of the phenomenon of ‘chopped off’, deformed historical and social memory. The next round of the search for an identity uniting society prompted the post-Soviet authorities to use the potential of the historical past through “memory management” (state policy of historical memory). Historians are now being given an “order” not so much for a proven, as for a “glorious” version of historical past, which implies the use of “memory erasure” technologies and the imposition of memory standards. There is a contradiction between the nature and goal-setting of social memory and scientific reflection on the past (“history” is historical knowledge, “memory” is based on values). “Historical memory” is the applied application of historical knowledge, the movement of history towards the demands and requirements of social memory; in a narrow and instrumental sense, it is the involvement and responsibility of professional historians for the formation and transformation of all types of memory. Coverage of the historical process should imply and take into account the presence of three components in it – state-centric, socio-centric and personality-centric. The social function of a historian to a large extent consists in reviving interest in the civic aspects of the past and thereby helping to fill the deficit of their identity by various communities and personalities. An important and potentially very productive field is competent professional interaction with carriers and keepers of social / cultural memory in the field of collecting oral memories, their adequate fixation, preservation and popularization of the latter.

Keywords: history, scientific reflection, social memory, state policy of memory, political interests.

The article has been received by the editor on 01.12.2021.

Full text of the article in Russian and references in English are available below.

Аннотация. В советскую эпоху государство попыталось выстроить идентичность для социума на основе идеологии, пожертвовав при этом остальными базовыми идентичностями (этническими, конфессиональными, культурными, поселенческими/земляческими, семейными). В итоге сформировался феномен «обрубленной» деформированной исторической и социальной памяти. Очередной виток поиска объединяющей общество идентичности побудил постсоветскую власть использовать потенциал исторического прошлого через «управление памятью» (государственная политика исторической памяти). Перед историками ныне формулируется «заказ» не столько на доказательную, сколько на «славную» версию исторического прошлого, что подразумевает использование технологий «стирания памяти»

* Красильников Сергей Александрович, доктор исторических наук, Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия, e-mail: krass49@gmail.com

Krasilnikov Sergey Aleksandrovich, Doctor of Historical Sciences, Institute of History of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia, e-mail: krass49@gmail.com

и насаждения стандартов памяти. Между природой и целеполаганием социальной памяти и научной рефлексией о прошлом существует противоречие («история» – это историческое знание, «память» же основана на ценностях). «Историческая память» – это прикладное применение исторических знаний, движение истории навстречу запросам и требованиям социальной памяти; в узком и инструментальном значении – причастность и ответственность профессиональных историков за формирование и трансформацию всех разновидностей памяти. Освещение исторического процесса должно подразумевать и учитывать присутствие в нем трех составляющих – государственно-центричное, социо-центричное и лично-центричное. Социальная функция историка в значительной мере состоит в возрождении интереса к гражданским аспектам прошлого и тем самым содействовать восполнению различными общностями и личностями дефицита своей идентичности. Важное и потенциально весьма продуктивное поле – это грамотное профессиональное взаимодействие с носителями и хранителями социальной / культурной памяти в сфере сбора устных воспоминаний, их адекватной фиксации, сохранении и популяризации последних.

Ключевые слова: история, научная рефлексия, социальная память, государственная политика памяти, политические интересы.

В постсоветский период можно наблюдать своего рода волнообразность внимания российского социума к своему историческому прошлому. В 1990-е гг. кризис «советскости» преломлялся в массовом общественном сознании в глобальное переосмысление и переоценку прежних мировоззренческих ценностей, сформировавшихся в советскую эпоху. Запрос на упомянутое выше переосмысление находил выход в валовом росте работ историко-публицистического характера, начиная от формата газетно-журнальных публикаций до выпуска значительными тиражами полупрофессиональных, а нередко и квазипрофессиональных работ на тему «исторического пути России», где событиям советского периода отводилось знаковое место.

Всплеск разножанровых публикаций в дальнейшем только закреплялся, что свидетельствовало об устойчивости потребности со стороны социума, отдельных его групп и общностей в выстраивании собственной идентичности, и с определенного момента (с так называемых нулевых годов) *попал* в поле интереса институтов власти. В информационном поле, особенно после 2010 г., появляются устойчивые словосочетания «историческая память», «государственная политика памяти» как очевидные свидетельства того, что государственные институты оценили потенциал исторического прошлого в качестве одного из важных факторов укрепления своей легитимации, с одной стороны, и ресурса социальной мобилизации – с другой.

Ввиду многозначности терминологического словосочетания «историческая память» следует договориться о его природе, смыслах и границах применения. В профессиональной исторической науке на этот счет есть несколько отрефлексированных позиций. По одной из них следует четко отграничивать понятия «история» и «память». «История» по своей природе – это *историческое знание*, или отрефлексированная, закреплённая и упорядоченная информация о прошлых событиях, явлениях, процессах. «Память» по своей природе и формам существования – социальная, коллективная, групповая. Социальная память основана на *ценностях*. Можно говорить и о культурной памяти, которая также выражается в ценностях, символах, нарративах. Социальная или культурная память – это тоже рефлексия о прошлом, но формируемая, закрепляемая и передаваемая по иным основаниям, нежели историческое знание. Отсюда и проистекает интеллектуальная традиция разведения понятий «история» и «память».

Среди историков данная позиция в наиболее завершённом виде формулируется французским исследователем Пьером Нора: «Память – явление всегда современное, это переживаемая связь с вечным настоящим; история же – представление о прошлом. Так как память эмоциональна и легковерна, ее устраивают только те детали, которые ее упрочивают...

История же, будучи операцией интеллектуальной и секуляризаторской, требует анализа и критического дискурса. Память помещает воспоминание в разряд священного, история же выгоняет его оттуда... память по своей природе является многосложной и делимой, коллективной, множественной и индивидуализированной. История же, наоборот, принадлежит всем и никому, что сообщает ей устремленность ко всеобщему»¹.

Его соотечественник, Антуан Про, выступая, безусловно, на стороне П. Нора, размышляя о том, как найти выход из противоречия между природой и целеполаганием социальной памяти и научной рефлексией о прошлом, ищет поле разумного взаимодействия между социальным и научным обращением к прошлому. Его он находит в следующем: «Наше... общество боится уже не утонуть в прошлом, а потерять его... Охватившая нас “мемориальность”, требующая от историков компетентного и авторитетного участия, сопровождается беспрецедентным подъемом интереса к культурному наследию»². Однако профессиональные приоритеты должны быть соблюдены: «...история не должна идти в услужение к памяти; она должна, конечно, считаться со спросом на память, но лишь для того, чтобы превратить этот спрос в историю»³.

В соответствии с вышесказанным, коль скоро речь идет о принципах и границах взаимодействия истории и памяти, тогда словосочетание «историческая память» должно иметь определенную оговорку или допущение: историческая память (ИП) – это прикладное, или практико-ориентированное, применение исторических знаний, движение истории навстречу запросам и требованиям социальной памяти. *Тогда ИП в ее узком и инструментальном значении – это причастность и ответственность профессиональных историков за формирование и трансформацию всех разновидностей памяти – социальной, национальной, культурной, этнической и др.*

Другая принципиальная грань проблемы ИП – это ее субъектность: кто выступает создателем/хранителем/интерпретатором при упорядочении информационного корпуса, называемого исторической памятью в ее практическом приложении. Здесь мы вступаем в пространство информационно-коммуникационных связей, для понимания механизмов действия которых следует воспользоваться знаменитой формулой американского социолога Г. Лассуэлла: *кто – что – как – кому – с каким эффектом* сообщает/передает информацию.

Нейтральной социальной информации практически не бывает: она всегда ценностно окрашена. Отсюда вырастает ценность обладания информацией и механизмами ее распространения. Следовательно, субъектность «мемориальности» является ключевой. Отсюда знаменитая формула из не менее знаменитого романа Дж. Оруэлла «1984» об одном из постулатов тоталитаризма: «Кто управляет настоящим – тот управляет прошлым»⁴. Отсюда и проблема «управляемой памяти», или институциональный аспект: политика в области исторической памяти. Нужна ли она, и если да, то далее содержательные аспекты: возможности и границы/пределы воздействия на ИП. Какой была/есть/может быть государственная политика памяти (ГПП) – жесткой/директивной/прямой или мягкой/косвенной, опосредованной?

Здесь может быть уместен пример из раннесоветской эпохи, когда, придя к власти и удержав ее в период Гражданской войны, большевики решали задачу упрочения нового режима. Проблема прямого контроля над прошлым напрямую в первой половине 1920-х гг. не стояла, однако для политического руководства насущной задачей выступали стратегия и тактика овладения культурным наследием или овладения мировоззренческими «высотами». В наиболее отчетливой форме партийно-государственная линия оказалась выражена в публицистической статье Л.Д. Троцкого «Партийная политика в искусстве» (1923): «*Есть области, где партия руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует. Есть области, где она только содействует. Есть, наконец,*

¹ Цит. по: Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 313.

² Про А. Двенадцать уроков по истории... С. 314–315.

³ Там же. С. 319.

⁴ Оруэлл Дж. 1984. М., 1989. С. 36.

области, где она только ориентируется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она может и должна ограждать, содействовать и лишь косвенно – руководить».

Далее Троцкий высказывает весьма актуальные мысли о партийной политике и практике ее реализации в сферах культуры в широком смысле, включая сюда науку, литературу, искусство. Здесь он выступает за разумное сочетание твердости и гибкости: «Критерий наш – отчетливо политический. Но именно поэтому он должен ясно очерчивать пределы своего действия. Чтобы выразиться еще отчетливее, скажу: при бдительной революционной цензуре – широкая и гибкая политика в области искусства, чуждая кружкового злопыхательства».

Совершенно очевидно, что и в области искусства партия не может ни на один день придерживаться либерального принципа *laissez fair, laissez passer* (предоставьте вещам идти своим ходом). Весь вопрос только в том, с какого пункта начинается вмешательство и где его пределы; в каких случаях – между чем и чем партия обязана делать выбор. И этот вопрос вовсе не так прост...»⁵.

Очевидно, что в позиции Троцкого можно увидеть определенный универсальный механизм государственной политики не только управления и регулирования культурными процессами как таковыми, но и технологии внесения и утверждения государственных приоритетов в общественное сознание с целью формирования мировоззренческих основ и ориентиров. Будучи как теоретиком, так и практиком большевистской государственности, Троцкий предлагал достаточно широкий арсенал средств регулирования, в широком смысле, государственной гуманитарно-мировоззренческой политики и практики ее реализации. Впрочем, государственная политика памяти с привлечением профессиональных историков на институциональной основе началась с середины 1930-х гг., уже вне влияния Л.Д. Троцкого и в достаточно жесткой директивной форме. В то же время подход Троцкого к пониманию того, что диктатура в культуре может привести к деструктивным последствиям (а в нашем случае речь идет о диктатуре памяти), оказывается весьма актуальным в современных условиях, когда «историческая память» становится элементом конструирования идентичности – государственной и гражданской.

Советская эпоха была масштабным мировоззренческим экспериментом, где громадные средства были брошены на достижение сверхцели – в рамках так называемой социальной инженерии сконструировать и закрепить для воспроизводства новый тип личности («советский человек») и общность («советский народ как новая историческая общность»). Считалось, что выстроенная на мировоззренческой/идеологической основе социальная идентичность будет базовой, доминирующей, определяющей. В жертву были принесены как минимум две базовые традиционные идентичности – этническая и конфессиональная, а также две другие не менее корневые – культурная и территориально-поселенческая (земляческая).

Сегодня с очевидностью можно констатировать, что данный советский государственный проект оказался тупиковым и на свое место вернулись традиционные идентификаторы – этнические, конфессиональные, культурные, поселенческие и т.д. Это своего рода историческое предупреждение – государственные проекты/программы должны иметь четкие границы, или коридор возможностей, когда речь идет о воздействии, влиянии на органические процессы, идущие объективно, имеющие свой ритм, логику.

В социально-гуманитарных дисциплинах используется терминологическое понятие – «горизонты памяти»: они могут быть короткими и длинными, продолжительными. Пропаганда и идеология всегда имеют в своем арсенале два горизонта «управляемой памяти» – короткий и длинный. И теми и другими можно управлять, а следовательно, и манипулировать. Известный российский демограф Анатолий Вишневский не так давно очень удачно подметил технологии «стирания памяти» – вычеркивание из советской государственной официальной памяти целых народов. Достаточно взять в руки Большую

⁵ Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 1991. С. 170–172.

советскую энциклопедию (БСЭ), выходящую в первой половине 1950-х гг. Там нет статей «калмыки», «чеченцы», «ингуши», так как на тот момент они относились к категории «депортированных народов» с маркировкой «навечно». Под этим углом зрения чрезвычайно полезным было бы проанализировать БСЭ как историко-культурный источник, причем на предмет не только того, что там представлено, но и в большей даже степени того, что было «стерто», вычеркнуто.

Применительно к советскому историческому прошлому мы имеем дело с феноменом «обрубленной» деформированной травматичной памяти. На первую половину XX в. в России / СССР пришлась экстремальная полоса войн, революций, массовых репрессий, где трудно выделить хотя бы одно «спокойное» пятилетие. Все это сопровождалось колоссальными по своим масштабам и последствиям социально-демографическими перемещениями, которые сказались на судьбах социальных слоев, этносов, конфессиональных и других общностей. Историки и социологи описывают эти события в рамках трех «М»: мобильность – миграции – маргинальность. При наложении друг на друга они давали кумулятивный эффект, носивший для отечественного социума избыточно катастрофичный характер. Катастрофы эпохи войн, революций и тоталитарного режима – это не только обрушение социальной структуры и иерархии социальных статусов, когда вертикальная мобильность действует одновременно в двух направлениях, нисходящем и восходящем, следствием чего становится нивелирование, «огрубление», упрощение социальной структуры, связей и отношений. «Перепахиванию» подверглись те «точки роста», которые аккумулировали прогрессивный социальный капитал пореформенной России, своего рода «протоклассы» (профессиональные рабочие, предприниматели, интеллигенция). Сюда же попали и традиционные сословия, идентичность которых оказалась окрашена отрицательной политико-идеологической коннотацией (дворянство, священнослужители, крестьянство, казачество). В итоге социально-профессиональные общности оказались переформатированы в рамках советского общества таким образом, что возникла символическая модель «народного общества» из трех составных частей (рабочие – крестьяне – служащие). Сформированные за краткий исторический промежуток времени перечисленные общности оказались в ситуации, когда акцентировалось внимание на идентификационной новизне, а не на преемственности с прошлым.

Отсюда сложился феномен «обрубленной» деформированной памяти, и не только на уровне социальной памяти тех или иных групп, общностей, но прежде всего на уровне семьи, поколений. Для громадной массы семей их семейная память ограничивается, как правило, несколькими поколениями, выпавшими на XX век. Глубже – хотя бы в пореформенном периоде России – отыскать, зафиксировать семейные корни крайне трудно. И дело здесь не только в банальной причине – зачастую попросту нет документальных свидетельств, источников, семейных архивов. Самый популярный, с точки зрения массового спроса, в региональных архивах сегодня источник – это метрические книги дореволюционного периода. Громадный интерес и тяга к поиску своих семейных родословных, т.е. корней, свидетельствует о социальной востребованности, спросе на историческое прошлое. И это поле реального взаимодействия профессиональных историков с людьми – консультации, экспертные рекомендации, нацеленные на то, чтобы оказать содействие желающим найти нужную персональную информацию. Но это только один из аспектов участия историков в возвращении памяти.

Более сложным является пространство взаимодействия профессиональных историков с представителями консолидированных по разным основаниям общностей. Достаточно ярко проявившимися группами, обращающимися к прошлому в поисках своей идентичности, выступают в современных условиях казачество, конфессиональные и этнические образования и др. К этому следует присоединить и стремление к восстановлению своей «корневой» системы профессиональных, корпоративных групп, начиная от представителей силовых структур и кончая священнослужителями, банкирами и др. В данном случае перед историками встает дилемма «заказа» на историю, когда с точки зрения интересов той или

иной общности или корпорации это может быть не столько «правдивая», сколько «славная» версия ее исторического прошлого. Наибольшую активность проявляют представители силовых структур и РПЦ, корпоративные истории которых поддерживаются на институциональном уровне, отсюда возникают периодические коллизии в трактовках событий истории XX в. между «корпоративными» и «гражданскими» исследователями. Необходимо признать, что наиболее толерантные и конструктивные взаимодействия выстроены и поддерживаются между профессиональными историками и носителями этнических и конфессиональных общностей вокруг истории государственных репрессий сталинской эпохи, где потребность в настоящей исторической реконструкции трагических событий признается безоговорочной ценностью. Позитивным моментом следует считать то, что такого рода исследовательской и просветительской деятельностью профессиональные историки реализуют одно из своих важнейших предназначений – способствовать восполнению различными общностями недостатка идентичности.

Вместе с тем, как справедливо заметил А.Б. Рогинский в своем известном выступлении на Первой Международной конференции по истории сталинизма в 2008 г. «Память о сталинизме», если население страны после 1991 г. испытало недостаток идентичности, то власть, новая элита обратилась к прошлому из-за дефицита собственной легитимности: «Образ счастливого и славного прошлого был нужен для консолидации населения, восстановления непрерывности авторитета государственной власти, укрепления собственной вертикали и т.д.»⁶. Государственная политика памяти стала в последующие годы действенным инструментом властных институтов, и здесь Рогинский оказался прозорливо прав в том, что «постепенно и подспудно концепция великой России прирастала советским периодом, в частности, сталинской эпохой... это не результат установки на идеализацию Сталина, а побочное следствие другой задачи – утверждение заведомой правоты государственной власти»⁷.

Вряд ли найдутся возражения против тезиса о громадной роли государственной власти как одного из базовых факторов существования и развития страны, ее граждан. Вопрос заключается в том, где находится грань, перейдя которую, политическая власть может подменять интересы граждан своими собственными, корпоративными, выдавать осуществление собственной охранительной политики за государственные интересы и безопасность, где гражданское начало подменяется принципом державности, где государственное величие объявляется высшей ценностью в сравнении с интересами человеческими и общественными.

Здесь мы имеем дело с новым изданием тоталитарного принципа контроля над прошлым в интересах собственной легитимации. Государственная мемориализация решает не до конца решенную в 1990-е гг. задачу увековечения отечественной государственности в форме памятников династического характера (князю Владимиру в Москве, Ивану Грозному в Орле), зондируется почва для возвращения на пьедесталы и в топонимику деятелей советской государственности (И. Сталина, Ф. Дзержинского). В своем недавнем острополюмическом эссе культуролог и историк Виталий Куренной отмечает особенности современной фазы политики памяти: «Эти памятники про пространство, а не про историческое время. Можно выделить три аспекта этой пространственной логики: геополитическую, милитаристски-географическую и эстетическую.

Установление памятника князю Владимиру в центре Москвы прочитывается в первую очередь как ответ на сложившуюся ситуацию конфликта с Украиной и изменение конфигурации отношений с Киевом... Изменилась геополитическая ситуация – изменяется и конфигурация пространственного расположения памятников... Пространственная интерпретация истории выходит на первый план и в других громких событиях, связанных с установкой памятников в последнее время. Здесь пространство – по формуле “собирания” или “защиты” земель – выступает уже как основной масштаб деятельности исторического

⁶ Рогинский А.Б. Память о сталинизме // История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы междунар. науч. конф. (Москва, 5–7 декабря 2008 г.). М., 2011. С. 23.

⁷ Там же. С. 27.

лица, ключевой аргумент признания его военно-исторической роли. ...Вопросы исторической памяти превращаются здесь в вопросы пространственного расположения территориальных границ и оборонительных линий, что и выступает как самодостаточный аргумент с точки зрения инициаторов установки памятника... Подобная редукция истории к пространству означает архаизацию исторического мышления и исторического чувства. Это возвращает нас в досовременный период, где монументы царей и полководцев создавались с одной целью – навечно превознести их великие свершения и покорение новых территорий»⁸.

Мы разделяем мнение В. Куренного в том, что современные нам действия по актуализации исторического прошлого в чьих-либо интересах, в том числе путем мемориализации, несут в себе потенциал антиисторизма, поскольку нацелены на то, чтобы время остановилось «здесь и сейчас», создавая барьеры для развития исторического знания, которое по своей природе является не застывшим, а подвижным, изменчивым.

На наш взгляд, освещение исторического процесса (в ракурсах исторического знания, образования и просвещения) должно иметь не одну, а несколько доминант, как минимум три: *государственно-центричную, социо-центричную и лично-центричную*. В историческом образовании и просвещении наблюдается абсолютное доминирование государственно-центричной интерпретации прошлого. В какой-то весьма специфической мере присутствует так называемый личностный фактор, да и то он выражен в фигурах государственных лидеров и деятелей, военачальников, реже ученых, корифеев культуры. Социумный аспект практически низведен до уровня статистического, демографического измерения. Разнообразие и многообразие социумной жизни находится на периферии: выше уже отмечалось, что государственно-политическая идентичность фактически в XX в. подмяла и деформировала другие базовые основания для идентичности (этнические, конфессиональные, культурные). И возрождение интереса к гражданским аспектам прошлого может и должно найти свое место в деятельности профессиональных историков. Тем более что здесь поле для естественного формирования исторической памяти. Напрашивается также сравнение с природным явлением – растением, травой, деревом. Продолжая аналогию, заметим, что в случае с феноменом патриотизма мы можем наблюдать разнонаправленность – он может быть органичным, а может быть и искусственным, спускаемым сверху вниз. Но растения и деревья растут снизу вверх, а не наоборот. Попытка же искусственно вмешаться и ускорить эти процессы чаще всего оказывается контрпродуктивной.

Соответственно, если говорить о политике в области формирования исторического самосознания, образования и просвещения, то она может и должна носить взвешенный характер, учитывающий характер и особенности социальной, культурной, этнической и других форм памяти. Памятуя о прозорливом замечании Л. Троцкого, политике пристало опираться здесь на так называемую триаду: *содействие – взаимодействие – воздействие*. Следует четко определять те границы, методы работы в сфере памяти, где используются технологии *содействия* (скажем, поддержка гражданских инициатив), *взаимодействия* (площадки для диалогов, координация различного рода программ, проектов), *воздействия* (сфера правоприменения в отношении проявлений национализма и различного рода фобий). Первые два вектора создают условия для *роста и развития памяти*. Воздействие «сверху» при определенных условиях грозит выродиться в *политику насаждения стандартов памяти*.

У феномена государственной «политики памяти», помимо перечисленных аспектов, есть еще одно из важных измерений, с которым сплошь и рядом сталкиваются в своей деятельности профессиональные историки – это «присвоенное прошлое». В данном случае речь идет о двух взаимосвязанных сторонах информации о прошлом, которая остается по прошествии той или иной эпохи, в нашем случае – сталинской. Одна из них – это *символическая история*, созданная технологиями индоктринации и действиями идеолого-пропагандистских

⁸ Куренной В. «Это взгляд не историков, а полководцев» [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/vitalii_kurennoi.shtml (дата обращения: 15.11.2022).

институтов. Она носит заведомо тенденциозный, но в то же время и весьма укорененный характер, поскольку вошла в государственную институциональную политику и практику (символика, праздники, топонимика). И хотя «после Сталина» исчезли наиболее явные упоминания о нем и его окружении, остались существенные атрибутивные черты тоталитарной эпохи – персонализация и сакрализация Первого лица, идеократический характер власти, господство этатизма, охранительно-мобилизационные технологии воздействия государства на социум и т.д. Вторая из сторон – это собственно *разновидовая информация о прошлом*. Государственные институты сохраняют монополию на информацию, создававшуюся ими самими, монополию на доступ к ней и ее инструментальное использование. Сложился эффект двойного «присвоенного прошлого» – символической истории и документальных и нарративных ресурсов.

Отсюда реальная реконструкция событий и процессов сталинской и, шире, советской эпохи не просто крайне затруднена, но и встречает ряд почти непреодолимых препятствий. При очевидной тенденциозности советской официальной «картины мира» исследователи сталкиваются сплошь и рядом с явлением столь же глубокой тенденциозности, заданности и даже прямой фальсифицированности самих документальных источников, поскольку циркулировавшая в системе власти информация выполняла присущие ей функции. Классические приемы источниковедческого анализа здесь также бывают трудноприменимы, поскольку желательное выявление и сопоставление информации из разных источников, ее перепроверка часто оказываются невыполнимыми; статистические ряды за разные периоды могут быть выстроены по различным основаниям, а потому и несопоставимы; первичная, «низовая» социальная информация чаще всего не сохранялась или намеренно уничтожалась и т.д.

Историки стремятся преодолеть трудности такого рода, работая с доступным для них корпусом источников. Существуют успешные апробированные технологии, в частности, связанные с реконструкциями механизмов принятия и реализации важных государственно-политических решений. Когда и если в распоряжении историков оказывается комплекс источников, содержащих не только причину и инициацию конкретного постановления, но и его корректировку в ходе практической реализации, то задача научной реконструкции события может быть выполнена. Об этом, в частности, свидетельствует опыт работы над рядом серийных изданий, в которых отражена советская репрессивно-дискриминационная политика в отношении различных групп постреволюционного социума («Архивы Кремля», «Трагедия советской деревни», «История сталинского ГУЛАГА» и др.).

Изучение репрессивной системы в целом дает историкам возможность для исторических реконструкций, поскольку в своем «ядре» она содержит с той или иной степенью полноты и достоверности информацию о технологиях насилия. И хотя гражданские историки (в отличие от корпоративных) ныне все более отсечены от ведомственных архивов, однако за прошедшие после 1991 г. два десятилетия накоплен и обобщен эмпирический материал, дающий ответы на вопросы о функционировании репрессивной системы в СССР («Что и как это было»). Особенно значительные сдвиги произошли в изучении «анатомии Большого Террора»: с выходом серии документальных и аналитических публикаций ныне с достаточной достоверностью установлены масштабы, технология репрессий, состав репрессированных и другие существенные параметры этого феномена. Достаточно высоким следует считать уровень разработки проблемы принудительных миграций, хотя пока не все депортационные кампании, коих в разном формате насчитывалось в советскую эпоху около 50, изучены с необходимой полнотой, но динамика научных исследований этого сегмента репрессий достаточно позитивна. Безусловно, в репрессивных кампаниях есть еще свои «серые» зоны, которые касаются изучения технологий и последствий тех из них, которые происходили в форме «Указов», и здесь значительная и кропотливая изыскательская работа еще впереди. Столь же «серой» зоной следует считать технологии и последствия амнистийонных кампаний, приуроченных к различным юбилейным датам и по другим основаниям в 1920 – середине 1950-х гг. Статистика советских государственных репрессий раннесовет-

ской и сталинской эпох с достаточной определенностью выделяла виды наказаний, связанных с лишением свободы, и наказания, связанные с отработкой на производстве без лишения свободы (исправительные работы). Во втором случае историкам известны масштабы наказаний такого рода, но не институциональная и технологическая сторона их практического осуществления.

Существование ряда тематических полей, не вполне разработанных отечественными российскими историками (здесь логично кооперирование с ныне зарубежными, а ранее – с исследователями из республик, входивших до 1991 г. в состав СССР), поднимает очень важную проблему профессионального взаимопонимания и необходимости оперировать в одном формате такими категориями, как «геноцид», «террор», «депортации», «сопротивление» и др. Взаимный опыт конструктивной работы куда более важен и ценен, нежели открытие очередных «битв за историю».

Между тем мы являемся современниками и участниками достаточно отчетливо выраженного процесса утверждения государственной монополии, или «командных высот» в сфере изучения и трактовки событий Великой Отечественной войны и, шире, оценок причин, хода и итогов Второй мировой войны. Причины государственного интереса в данной области очевидны, поскольку касаются проблем особенно чувствительных как для внешней, так и для внутренней политики руководства страны, и связаны со стремлением выстроить более прочные основания для идентификации населения России вокруг рубежного события прошлого, выдвинувшего страну в разряд сверхдержавы.

Уместно напомнить, что интересы государственных структур лежат в плоскости обеспечения и использования ресурсов знаний о прошлом в необходимом и систематизированном, подконтрольном власти направлении. С этой целью применяются идеологические и организационные усилия для того, чтобы выстроить не только систему исторического образования всех ступеней, от школьного до поствузовского, но и создать платформу для распространения государственных установок в сфере деятельности негосударственных, некоммерческих организаций, прямо или опосредованно работающих в области патриотического воспитания детей, подростков, молодежи. В данном случае речь идет о различного рода АНО, НКО, нацеленных на сферу сохранения и популяризацию памяти о прошлом, функционально работающих в воспитательно-мировоззренческой сфере. Существует значительный канал институциональной поддержки деятельности данных организаций через различные фонды, прежде всего Фонд президентских грантов (ФПГ) для НКО, одним из приоритетных направлений для которого выступает именно направление поддержки развития и сохранения исторической памяти.

Вместе с тем трудно не заметить, что в грантовом пространстве среди принятых к поддержке заявок сложилась тенденция преобладания инициатив, направленных на сферу сохранения и пропаганды памяти о событиях Великой Отечественной войны, т.е. с ориентацией на формирование военно-патриотического воспитания и мировоззрения подрастающих поколений. Цель, безусловно, благая, которая требует необходимой государственной и общественной поддержки. При этом очевидным выступает то явление, что в данном сегменте исторической памяти, помимо здорового потенциала, связанного не только с расширением информационных каналов получения сведений о Большой войне и доступности открывшихся ресурсов фондов Министерства обороны о боевых действиях и награждениях солдат и офицеров или возможностей активации потенциалов семейной памяти о войне, а также привлечение современных информационных возможностей популяризации событий военной эпохи (интерактивные технологии, визуализация источников, виртуальные музейные и выставочные экспозиции и т.д.), налицо проявление и прагматической тенденции, основанной на конъюнктурном желании использовать память о событиях военного времени.

Речь в данном случае может идти о явных, а часто и неявных намерениях использования тренда государственной политики памяти о войне как о трагедии и жертвах, принесенных во имя достижения победы и независимости страны, государства, народа. Сохранение и

увековечивание памяти о жертвах и трагедии Большой войны рискует превратиться в описание памяти о жертвенности и подвигах, которые не требуют значительных усилий для подтверждения приверженности военно-патриотической тематике (организация и проведение фестивалей и смотров военно-патриотических песен; пропаганда памяти о героях Отечественной войны, уже увековеченных государством в названиях улиц, школ; школьные конкурсы по изучению фронтовых писем, хранящихся в музеях и архивах и т.д.). Здесь есть, безусловно, и использование освоенных в советскую эпоху форм и технологий сохранения памяти о военной эпохе (мемориальные комплексы, школьные музеи боевой славы, движение по поиску мест захоронений павших воинов, походы по маршрутам боевых действий в конкретном регионе), ибо памятники и мемориалы требуют поддержки, реставрации, а где-то и восстановления, реконструкции; то же касается школьных музеев и уголков, поддержки участников Отечественной войны. Однако нельзя не заметить, что часть мероприятий по сохранению памяти о войне приобретает формально-деятельностный и поверхностный характер, где в обоснование положен тезис о необходимости противостояния «искажению памяти о событиях Второй мировой и Отечественной войн». Далее у заявителей присутствуют рассуждения о необходимости видеосъемок интервью и встреч подростков с ныне живущими участниками боев и битв, которые помогут этому противостоять, формируя непредвзятые и объективные оценки событий Отечественной войны, хотя нетрудно предположить, что сами воевавшие уже ранее неоднократно делились своими воспоминаниями и военным опытом, а в современной ситуации возраст воевавших приближается к столетнему рубежу и их участие в мемориальных мероприятиях таит значительные риски.

Между тем совершенно вне отмеченного выше приоритетного направления памяти о событиях Отечественной войны оказывается «незнаменитая память» о громадной массе населения страны, оказавшейся «на обочине войны», по меткому выражению П. Поляна и Н. Поболя, историков, инициировавших в издательстве РОССПЭН серию из 11 книг документов и воспоминаний людей воевавших и невоенных, оказавшихся в условиях военного плена, а затем в фильтрационных лагерях и пунктах, в штрафных частях, в отечественных местах заключения, на оккупированных территориях, затем на принудительных работах в Германии, послевоенных репатриантов и др.⁹

Мы солидарны с пусть и полемически заостренным, но верным по сути высказыванием П. Поляна в публикации 2016 г., где он указывает на очевидные «прорехи» живучести и воспроизводства в современных условиях «Главпуровского» наследия трактовок памяти об Отечественной войне: «...сохранена главпуровская стратагема – установка на искусственное и несправедливое идеологическое противостояние между ветеранами 1-го сорта (уцелевшими красноармейцами, воевавшими на полях сражений и не попавшими в плен) и всеми прочими – эвакуированными, жителями тыла (это 2-й сорт, их заслуги не оспариваются) и теми, кто оказался под оккупацией, был угнан в Германию или взят в плен (3-й сорт). Это противостояние – искусственное, оно – рудимент внутренней холодной войны, которую ГлавПУР вел со своими неуважаемыми воображаемыми врагами – “предателями”, “пособниками”, “подстилками” и прочими “недобитками”. Противостояние это мобилизовывало социальную агрессию и разрушало основу восстановления взаимоуважения в стране и консолидации доверия в обществе. Так что неудивительно, что и спустя 70 лет и военнопленные, и оstarбайтеры, и ставшие жертвами геноцида евреи снова оказалась даже не на обочине, а на невидимой стороне войны и Победы»¹⁰.

Нам не так давно довелось подготовить для издательства «Нестор История» отзыв на рукопись книги «Если только буду жив...»¹¹, составленной из документов личного проис-

⁹ «Нам запретили белый свет...» Альманах дневников и воспоминаний военных и послевоенных лет. М., 2006; Оккупированное детство: Воспоминания тех, кто в годы войны еще не умел писать. М., 2010.

¹⁰ ГлавПУР бессмертный. Павел Полян об особенностях глорификации 70-летия Победы [Электронный ресурс]. URL: <https://www.colta.ru/articles/literature/11505-glavpur-bessmertnyy> (дата обращения: 15.11.2022).

¹¹ Полян П. «Если только буду жив...»: 12 дневников военных лет. СПб., 2021.

хождения (ныне часто именуемых эго-документами), которые автор-составитель П.М. Полян без преувеличения характеризует как «уникальные дневники военного времени участников и жертв войны», принадлежащих самому широкому их спектру – от особиста в действующей Красной армии 1941 г. до военнопленных и коллаборантов, оказавшихся в условиях плена и оккупации. Данная «сборка» личных судеб и восприятия ими «Большой Войны» в одном издании также само по себе уникальное явление в публикации источников нашей, российской стороной. В этом следует видеть и результат длительных, медленно, но верно происходивших в отечественном массовом и историческом сознании сдвигов в восприятии и переосмыслении той громадной гуманитарной катастрофы, которая сопутствовала этой войне. Каждый из дневников – это и индивидуальное, личностное восприятие событий, или «будней в катастрофе» (удачная метафора И. Нарского, исследователя другой, Гражданской войны в России), тех, кто вел эти дневниковые записи, но это и частица отражения жизни и судьбы тех сотен тысяч людей, которые в войне оказались на разных ее полюсах, хотя и очевидно, в основном не по своей воле.

Типовое, но слишком канцелярское слово «составитель» здесь не вполне применимо к автору и реализатору самой идеи – выявить, подобрать, проанализировать, подготовить документы к публикации, снабдив дневники необходимым справочным аппаратом, – Павлу Поляну. На наш взгляд, его выбор для читателей дневниковых «ликв войн» вне зависимости от официальной линии фронта и обозначения «свой – чужой» имеет право на обоснование и принятие читателями, за исключением, возможно, очень ангажированных, которые усмотрят в этом покушение на устои патриотизма в казенном его понимании.

Издание имеет очень четкую и выверенную длительным общением с текстами «матрицу» для каждого из 11 дневников (вводную информацию, своего рода «визитную карточку» судеб людей, превращенных в расходный материал «Большой войны», а также емкие комментарии). П.М. Полян обладает чертами, соединяющими в себе публикатора, аналитика, а также публициста, умеющего дать читателю необходимый импульс для внимательного прочтения. Он же, как публикатор, снабжает дневниковые тексты необходимыми примечаниями: работа тщательная, кропотливая, основанная на знании нескольких языков, а также бытовых сленгов, на которых общались люди в условиях несвободы. Это сродни погружению нас, современников, в глубины незнакомых нам миров, где каждый прожитый отрезок жизни отдалял от прежней, предвоенной, и приближал к развязке, неведомой самим авторам дневников.

Дневники в своей совокупности выстраиваются в одну очень важную линию. Каждый из ее авторов, находясь в зависимости от неизбежных для него окружающих обстоятельств, не просто фиксирует повседневность, но и находит силы описывать ее, и во многом благодаря именно этим дневниковым записям продлевает себе жизнь. Дневники превращаются в способ существования, когда у авторов отняты основные неотъемлемые человеческие основы, кроме одной – возможности и права на собственные мысли.

Представляется, что сложившееся своего рода параллельное сосуществование государственно утвержденной и возведенной фактически в разряд идеологии установки на регламентированную память об Отечественной войне как «одну на всех» и той многоликой и многоаспектной жизни нашего общества военной эпохи, отразившейся в источниках, неподконтрольных официальной политике (устные и зафиксированные в какой-либо форме воспоминания, собранные в негосударственных хранилищах, фольклор, художественные произведения, документальное и художественное кино и т.д.), отражает ту неизбежную реальность, которая прямо или опосредованно влияет на позиции и оценки профессиональных историков, общественных и государственных деятелей.

Проблема «управляемой памяти», политики в области исторической памяти была, есть и будет. Пропаганда и идеология всегда имеют в своем арсенале два горизонта «управляемой памяти» – короткий и длинный. И теми и другими можно управлять, а следовательно, манипулировать, использовать технологии «стирания памяти» или *насаждения стандартов памяти*. Однако у памяти свой ритм и логика функционирования. На наш взгляд, освещение истори-

ческого процесса (в ракурсах исторического знания, образования и просвещения) должно иметь не одно, а как минимум три измерения: *государственно-центричное, социо-центричное и личностно-центричное*. Вряд ли среди отечественных гуманитариев найдутся возражения против тезиса о роли государства в истории страны. Вопрос заключается в том, где проходит грань между интересами человеческими, общественными (гражданскими) и государственными. Государственная политика памяти не должна быть исключительно инструментом для власти. Социальное предназначение специалиста-гуманитария – возродить интерес к гражданским аспектам прошлого и тем самым способствовать восполнению различными общностями и группами дефицита своей идентичности. Одно из важнейших и потенциально наиболее продуктивное поле взаимодействия профессиональных историков с носителями и хранителями социальной / культурной памяти – это грамотное научное взаимодействие в сфере сбора устных воспоминаний, их адекватная фиксация, сохранение и популяризация последних.

Литература

ГлавПУР бессмертный. Павел Полян об особенностях глорификации 70-летия Победы [Электронный ресурс]. URL: <https://www.colta.ru/articles/literature/11505-glavpur-bessmertnyy> (дата обращения: 15.11.2021).

Куренной В. «Это взгляд не историков, а полководцев» [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/vitalii_kurennoi.shtml (дата обращения: 15.11.2021).

«Нам запретили белый свет...»: альманах дневников и воспоминаний военных и послевоенных лет / сост. Н. Поболь, П. Полян. М.: РОССПЭН, 2006. 414 с.

Оккупированное детство: воспоминания тех, кто в годы войны еще не умел писать / сост. Н. Поболь, П. Полян. М.: РОССПЭН, 2010. 379 с.

Оруэлл Дж. 1984. М.: ДЭМ, 1989. 320 с.

Полян П. «Если только буду жив...»: 12 дневников военных лет. СПб.: Нестор-История, 2021. 992 с.

Про А. Двенадцать уроков по истории. М.: Изд. центр РГГУ, 2000. 333 с.

Рогинский А.Б. Память о сталинизме // История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы междунар. науч. конф. (Москва, 5–7 декабря 2008 г.). М.: РОССПЭН, 2011. С. 21–27.

Троцкий Л.Д. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. 399 с.

References

GlavPUR bessmertnyy. Pavel Polyan ob osobennostyakh glorifikatsii 70-letiya Pobedy [Glavpur is Immortal. Pavel Polyan on the Peculiarities of Glorification of the 70th Anniversary of Victory]. Available at: URL: <https://www.colta.ru/articles/literature/11505-glavpur-bessmertnyy> (date of access 15.11.2021).

Kurennoy, D. *Eto vzglyad ne istorikov, a polkovodtsev* [This is Not the View of Historians, But of Warlords]. Available at: URL: https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/vitalii_kurennoi.shtml (date of access 15.11.2021).

Orwell, D. (1989). 1984. Moscow, DEM. 320 p.

Pobol', N., Polyansky, P. (Comp.). (2006). *"Nam zapretili belyy svet..." : al'manakh dnevnikov i vospominaniy voennykh i poslevoennykh let* ["The White Light was Forbidden to Us...": Almanac of Diaries and Memoirs of the War and Post-War Years]. Moscow, ROSSPEN. 414 p.

Pobol', N., Polyansky, P. (Comp.). (2010). *Okkupirovannoe detstvo: Vospominaniya tekhn, kto v gody voyny eshche ne umel pisat'* [Occupied Childhood: Memoirs of Those Who did Not Know How to Write During the War]. Moscow, ROSSPEN. 379 p.

Polyan, P. (2021). *"Esli tolko budu zhiv..." : 12 dnevnikov voyennikh let* ["If Only I'm Alive...": 12 Diaries of the War Years]. Saint Petersburg, Nestor-Istoriya. 992 p.

Pro, A. (2000). *Dvenadtsat' urokov po istorii* [Twelve History Lessons]. Moscow, Ed. Centre of RSHU. 333 p.

Roginskiy, A.B. (2011). Pamyat' o stalinizme [Memory of Stalinism]. In *Istoriya stalinizma: itogi i problemy izucheniya. Materiali mezhdunar. nauch. conf. Moscow, 5–7 dec. 2008 g.* Moscow, ROSSPEN, pp. 21–27.

Trotsky, L.D. (1991). *Literatura i revolutsiya* [The Literature and Revolution]. Moscow, Politizdat. 399 p.

Статья поступила в редакцию 01.12.2021.